



ТИРАЖ

ДАНИЛ ТУЕЗОВ

РОМАН

Данил Туезов

Тираж

«Автор»

2026

Тузев Д. В.

Тираж / Д. В. Тузев — «Автор», 2026

Матвей Свечин, безвестный писатель на исходе четвёртого десятка, живёт в сыром городе, где дождь идёт, кажется, годами, и пишет в стол. В букинистической лавке на глухой улице ему достаётся странная книга — тяжёлый гроссбух с пустыми, разлинованными страницами без единой строчки. В отчаянии, одной бессонной ночью, Матвей загадывает единственное, чего хотел всю жизнь: чтобы его читали. Наутро он просыпается знаменитым. Слава приходит мгновенная, оглушительная, необратимая. Вот только за неё назначена цена, о которой он догадается слишком поздно: один за другим, от самых дальних к самым близким, все, кто любил его даром, начинают тихо остывать. Память остаётся — уходит любовь. И чем громче звучит его имя, тем безлюднее делается вокруг. Тёмная фаустовская притча о том, как легко разменять живое тепло на бессмертие в чужих устах, и о человеке, который получил всё, о чём мечтал, и остался совершенно один.

© Тузев Д. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	12
Глава четвёртая	16
Глава пятая	20
Г	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Данил Туезов

Тираж

Глава первая

Третьи сутки над городом висел дождь, мелкий и упорный, и мир за окном понемногу терял очертания — сперва размокли крыши, потом фонари растеклись в жёлтые кляксы, а там и вечер сделался неотличим от утра. Оставались только ровный шум воды в жёлобе да серое свечение, в котором не было ни часа, ни числа. Матвей сидел за столом в темноте, нарочно не зажигая лампы. Он давно приметил, что в потёмках думается честнее, а честность была теперь едва ли не единственным, что он ещё мог себе позволить даром.

На краю стола белел вскрытый конверт. Он пришёл поутру, и с тех пор Матвей то отодвигал его на вытянутую руку, то придвигал обратно — как трогают языком больной зуб, не чтобы стало легче, а чтобы удостовериться, что болит. Письмо он знал почти наизусть. «Уважаемый автор, благодарим за интерес к нашему издательству. К сожалению, присланная рукопись не вписывается в наш нынешний портфель...» Дальше можно было не читать; дальше всегда стояло одно и то же, только у разных издательств разными словами: не формат, не время, не ко двору, не нужно. Он давно перестал понимать, что именно в нём не так, — и оттого всё чаще подозревал, что не так в нём всё.

Было ему тридцать, а писал он с восьми — с той зимы, когда слёг с ангиной и остался дома один, потому что мать взяла двойную смену, а других взрослых в доме не водилось. От жара и скуки он извёл тонкую тетрадку в клетку историей про мальчика, выучившегося делаться невидимым и под конец разучившегося возвращаться обратно, — и так вошёл в раж, что напугался сам. Вечером пришла Соня, старшая, тогда ещё школьница, пахнувшая снегом и взрослой не по годам усталостью, села к нему на край кровати и прочла всё, от первой строки до последней, беззвучно шевеля губами. Он глядел ей в лицо и ждал приговора страшнее всякой хвори. Соня дочитала, помолчала, взъерошила ему мокрые от пота волосы и сказала: «Молодец ты у меня». Больше в тот вечер не было сказано ничего, но Матвей запомнил его на всю жизнь — потому что это был первый и, если по совести, единственный раз, когда написанное им прочли до конца просто из любви.

Мать он и не помнил другой, только усталой. Она тянула две работы, приходила затемно, пахла аптекой и чужими лестницами, ела стоя у плиты и засыпала, не дораздевшись. На его тетради, на всё это «баловство» у неё не оставалось ни сил, ни слов — не по чёрствости, а по простой арифметике загнанного человека, у которого на нежность отведён последний, самый скудный час суток. Отца не было вовсе — была карточка в ящике комода да фамилия, которую Матвей носил, как носят с чужого плеча. Растила его по-настоящему Соня: проверяла уроки, врала учителям, что «мама придёт в другой раз», и первой, единственной читала всё, что выходило из-под его руки. Он вырос с твёрдым, ни на чём не стоявшим убеждением, что есть где-то на свете иной мир, где его прочтут и поймут, и что пробиться в этот мир значит расквитаться разом со всеми, кто в него не верил.

С тех пор переменялось немного — разве что тетрадей стало без счёта. Он исписал их десятки, потом перешёл на файлы и исписал сотни. Менял почерк, голос, подписи. Родной язык узнал так, как ювелир знает камень, — на ощупь, до последней грани, до того потайного места, где слово вдруг начинает отбрасывать тень. Слева от стола, прямо на полу, громоздились стопки папок: всё, что он так и не пристроил никуда. Романы, повести, рассказы. Сложи в них годы — вышла бы целая жизнь, вся его жизнь, если начистоту, и ни одна живая душа, кроме двух-трёх редакторов, скользнувших по строчкам вкось, не держала этих страниц

в руках. Порой ему думалось, что он пишет письма на тот свет: набело, старательно, наперёд зная, что ответа не будет.

Одну книжку выпустить ему всё же удалось — давно, едва сравнялось двадцать: крохотное издательство, триста экземпляров, серая бумага, опечатка в его же собственной фамилии на титуле. Не понадобилась она никому. В районной библиотеке устроили встречу с автором; пришло четверо — две пожилые женщины, спрятавшиеся от дождя, сонный студент, присланный с кафедры «для галочки», да Соня, отпросившаяся ради этого с работы. Матвей читал вслух свой лучший рассказ полутёмному залу, слушал, как за окном шумит вода, и видел, как одна из женщин тихонько клюёт носом. Он дочитал до точки, ровным голосом, не пропустив ни слова, — из последнего упрямства, из уважения не к слушателям, а к самим словам. Потом все разошлись. Триста экземпляров расплзлись года за три, больше по знакомым; иные, он знал, так и не раскрыли книгу. На встречи он с той поры не соглашался.

Работал он ежедневно, как служат нелюбимую, но необходимую службу, и в этой дисциплине были и гордость его, и отчаяние. Поутру правил вчерашнее, к вечеру двигался дальше. Вычёркивал вдвое против того, что оставлял. Читал каждую фразу вслух, ловя её на фальши, как настройщик ловит дрожащую струну. Он делал всё, что положено хорошему писателю, — всё, кроме одного: у него не было читателя. А писатель без читателя — даже не половина писателя, а свеча, которую зажгли и тут же накрыли ладонью.

Днём, когда четыре стены становились неспособны, он выходил и подолгу бродил по мокрым улицам без всякой цели, разглядывая чужие лица — не из любви к людям, в которой себе отказывал, а из ремесленной жадности: он собирал их, как собирают гербарий. Вон женщина у витрины говорит по телефону с кем-то, кого давно разлюбила и всё не решается сказать. Вон старик переходит дорогу так медленно и важно, будто это последнее его дело на земле. Матвей знал о прохожих то, чего они сами о себе не знали, и некому было отдать это знание. Город кишел людьми и был для него совершенно пуст.

На тумбочке у кровати лежала чужая книга — та самая, что второй месяц не сходила с витрин, с золотым тиснением по гляncy и восторженной строкой критика на обороте. Матвей купил её из глухого упрямства, одолел треть и отложил, чувствуя не злость даже, а телесную неловкость — ту, что берёт за человека, который громко, уверенно фальшивит и себя не слышит. Он почти не сомневался, что не завидует. Ему было больно за язык — плоский, приблизительный, собранный из готовых кусков, как стена из панелей, и этих панелей раскупали сотнями тысяч. Люди хотели ровно этого: чтобы гладко, знакомо, чтоб не тревожило. А то, что умел он, тревожило — оттого и было никому не нужно.

Хуже книг на витринах были люди. Года три тому назад один его приятель по литературной студии — способный, но не более, из тех, кто пишет ровно и никогда не рискует, — вдруг угодил в обойму: премия, экранизация, лицо на баннере у магазина. Начинали-то вместе, читали друг другу первое, и Матвей помнил его тексты — аккуратные, тёплые, ничем не опасные. Теперь этот человек рассуждал с экрана о «ремесле» и «честности перед читателем», а Матвей приглушал звук и сидел в темноте, чувствуя, как поднимается в нём что-то едкое и стыдное, чему он не хотел давать имени. Он твердил себе, что не завидует таланту — талант он простил бы. Простить он не мог удачи.

Он придвинул верхнюю папку, раскрыл наугад и прочёл строку, писанную с месяц назад: „Смерть приходит не гостем и не вором, а хозяином, который наконец воротился домой и с порога озирает, что без него запустили“. Перечёл дважды и понял — спокойно, без всякого торжества, как понимают, что вода мокра: это хорошо. Это было по-настоящему хорошо. И вот это ровное знание было невыносимее любого сомнения, потому что оно оставалось ничьим.

Он знал, что рано или поздно напишет её — ту, единственную, ради которой и стоят на полу все эти стопки. Она жила в нём пока без сюжета и без лица, одним жаром да обещанием: книга, от которой у чужого человека в чужом городе на минуту зайдётся сердце. Он не смел

подступиться к ней всерьёз, берёг, как берегут последний патрон. Ему мнилось, что напишет её лишь тогда, когда будет достоин; а достоин, по его счёту, означало — когда его наконец услышат.

Телефон беззвучно засветился и пополз по столешнице от дрожи. На экране стояло имя — Ася — и её лицо, снятое прошлым летом, когда всё казалось если не лёгким, то хотя бы возможным. Матвей смотрел, как трясётся и светится трубка, и не брал. Он знал: услышит её голос, тёплый и чуть насмешливый, слишком живой для этой комнаты, — и расскажет про отказ. А рассказывать про отказ было выше сил. Не потому, что она бы жалела, — потому, что не стала бы: сказала бы что-нибудь простое и верное, и от этой простоты стало бы совсем стыдно за то, как он всё запутал. Трубка подрожала и погасла. Тишина в комнате сделалась на один укор гуше.

Через минуту пришло сообщение: «Ты живой? Супу опять наварила на роту. Приходи, а то выкину — жалко». Он глядел на эти слова дольше, чем они того стоили. Набрал «Не могу, работа» — стёр. Набрал «Приду» — подержал палец над отправкой и тоже стёр, сам не понимая, что его держит: то ли гордость, то ли усталость, то ли смутное, ещё безымянное чувство, будто тепло — это то, чего он не заслужил, покуда его никто не читает. В конце концов отправил короткое: «Завтра. Честное слово». Положил телефон экраном вниз, чтобы не видеть, ответит ли, — и почти сразу пожалел, но переворачивать не стал.

Он поднялся, поставил чайник и, пока тот раскачивался к кипению, стоял у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Внизу по мокрому асфальту ползли красные и белые огни, беззвучные на этой высоте. Чай он пил без сахара: сахар вышел неделю назад, а купить всё было не с руки: казалось, вот-вот что-нибудь да переменится, и уж тогда можно будет. Он грел о кружку ладони и думал, что вся его жизнь в последние годы и состоит из этого «вот-вот» — подвешенного, несбывающегося ожидания, в котором он разом и стынет, и живёт.

Он попробовал вернуться к работе. Открыл файл, перечёл последнюю сцену, поставил курсор в конце строки — и понял, что не может. Отказ на краю стола будто выкачал из комнаты весь воздух, годный для дыхания слов. Всякая фраза, какую он пробовал прибавить, выходила мёртвой, как цветок, приклеенный к могиле. Он посидел так с четверть часа, глядя на мигающий курсор — маленькое терпеливое сердце, что билось и ждало от него хоть чего-нибудь, — и захлопнул ноутбук. Сегодня слов не будет. Это тоже входило в ремесло, только об этом не пишут в предисловиях: дни, когда тебя нет.

В комнате стыло. Хозяин прикручивал батарею с первого числа, из бережливости, и к вечеру металл делался чуть тёплым, как рука больного. Матвей прикинул, на сколько станет денег, и вышло, что до конца месяца дотянет, если по вечерам обходиться чаем. Обходиться он умел. Голод сносил всегда легче тишины: голод хоть честен и знает своё имя.

И всё же дело было не в деньгах, а этого он не умел объяснить так, чтоб не отдавало высокомерием. Пробовал объяснить Асе, единственной, кто слушал не перебивая, — она смотрела на него тёмными, слишком внимательными глазами, не спорила, но он видел, что до конца ей не понять, да и незачем. Не богатства ему хотелось, не тёплой даже батарее. Ему нужно было, чтобы его прочли. Чтобы хоть один незнакомый человек в незнакомом городе закрыл его книгу, посидел минуту молча, глядя в стену, и почувствовал, что мир качнулся — на волос, но всерьёз. Ради этой чужой минуты, которой он никогда не увидел бы и о которой никогда не узнал, он и жил. И этой минуты ему не давали — ни разу за все годы, что он помнил себя пишущим.

В худшие ночи ему думалось, что дело, верно, в нём самом: что он бездарен ровно настолько, чтобы распознавать чужую бездарность и мучиться ею, — и нет приговора глумливее. Но взгляд падал на строку про смерть-хозяина, и приговор отменялся сам собой. Тогда оставалось объяснение похуже: талант и удача — две разные птицы, садятся на разные плечи, и справедливости тут никакой, потому что справедливость — выдумка тех, кому повезло.

Жалеть себя он себе запрещал даже мысленно. Писатель, который себя жалеет, думал он, уже наполовину графоман.

Дождь за окном налил, зашумел ровно и сыто. Там, внизу, в мокрой темноте, лежал огромный равнодушный город — миллионы людей под миллионами тёплых окон, и ни один из них не знал и не узнал бы вовек, что он, Матвей, вообще есть на свете. Он встал, подошёл к окну и увидел в чёрном мокром стекле смутное своё отражение: узкое лицо, упрямый рот, глаза человека, который слишком долго ждал. Я отдал бы за это почти всё, подумал он без надрыва, спокойно, как думают о давно решённом. Хоть раз. Хоть на один-единственный день — чтобы меня прочли.

Глава вторая

Назавтра он всё же пошёл — не оттого, что обещал, а оттого, что к вечеру одиночество в нетопленной комнате сделалось плотнее стыда. Ася жила на другом конце города, в старом доме с широкой, стёртой посередине лестницей, и, поднимаясь, Матвей всякий раз чувствовал, как меняется воздух: во дворе пахло мокрым камнем и палой листвой, на лестнице — чужими ужинами, а у самой её двери уже чем-то тёплым, ванильным, живым, чему он не знал названия и что было, должно быть, просто запахом того, что тебя ждут.

Она отворила прежде, чем он постучал: услышала шаги. Она всегда узнавала его по шагам. Невысокая, тёмноволосая, в старом свитере с продранном локтем, с той особой домашней растрёпанностью, что к лицу одним лишь очень уверенным в себе людям, Ася глянула на него снизу вверх тёмными, слишком внимательными глазами и сказала не «здравствуй», а: «Ну наконец-то. Суп у меня второй раз воскресал».

В её единственной комнате было тесно и тепло. У окна стояла виолончель в потёртом чехле — Ася учила музыке детей, а по вечерам порой играла для себя, и Матвей любил заставлять её за этим: она играла так, будто говорила с кем-то, кого в комнате нет. Повсюду лежали ноты, к обоям были приколоты детские рисунки, стояли чашки с недопитым чаем. Это был беспорядок, в котором чуялась не запущенность, а изобилие жизни — той, которой слишком много для одного человека и она льётся через край. Он подумал мельком, до чего не похожа эта комната на его собственную, где всё прибрано и мертво, как в музее непрожитого.

Она усадила его, поставила тарелку, села напротив и, подперев щеку ладонью, смотрела, как он ест, — не с умилением, а со спокойным вниманием, с каким проверяют, всё ли в порядке. Есть под этим взглядом было и неловко, и хорошо. «Тебе отказали», — сказала она не вопросом, а тихой констатацией, когда он отодвинул тарелку. Он хотел было пожать плечами и сострить, но под её взглядом ложь выходила из него, как воздух из проколотой шины. «Отказали», — сказал он.

Утешать она не стала — она вообще не умела утешать общими словами и презирала их, только кивнула, будто он сообщил о погоде, и обронила: «Их дело». А потом, помолчав и разливая чай, прибавила негромко, глядя в чашку: «Знаешь... я бы тебя и так любила. Даже если б ты за всю жизнь ни строчки не написал». Она сказала это просто, между делом, и не заметила, как он на миг окаменел. Для неё это было признанием. Он же услышал другое: что любят человека по имени Матвей — случайного, которого он и сам-то не слишком уважал, — а книги, в которые вложено всё, тут вроде и ни при чём. Он улыбнулся и промолчал, и она приняла молчание за нежность.

В дверь заколотили — не постучали, а именно заколотили, ногой, потому что руки были заняты, — и, не дожидаясь ответа, ввалился Гриша: большой, мокрый, шумный, с пакетом, в котором звякало. «О, и этот тут, — обрадовался он, увидев Матвея. — А я-то гадаю, кому нести вторую бутылку».

Гриша был единственным, кто знал Матвея с того возраста, когда ещё нечего прятать. Они росли в одном дворе, дрались, мирились, вместе бегали с уроков. Потом дороги разошлись: Матвей ушёл в свои тетради, Гриша — в электрику и в жизнь, шумную, простую и прочную, как силовой кабель. Он успел жениться, развестись, снова к кому-то приглядывался, чинил проводку по всему городу, знал по имени продавщиц в трёх магазинах и не одолел, кажется, ни одной книги Матвея дальше третьей страницы — и любил его при этом так надёжно и бестолково, как любят одной лишь дружбой, заведённой в детстве, которую поздно и незачем отменять.

Как-то, лет в двенадцать, они вдвоём просидели целую ночь на крыше гаражей: Матвею взбрело, что оттуда будет видно, как занимается над городом рассвет, а Грише было попросту

любопытно, куда полезет этот тихий чудной мальчишка. Рассвет вышел так себе, серый и будничный, но Гриша тогда не сказал нислова упрёка — только достал из кармана сплюсненную шоколадку, разломил пополам, и они ели её, болтая ногами над двором, и это отчего-то запомнилось Матвеем как одно из самых счастливых утр его жизни. Гриша, разумеется, ничего этого не помнил. Он вообще держал в себе мало из прошлого — весь был в настоящем, прочно, обеими ногами, и, может, оттого и был так надёжен.

Он разлил вино в разномастные чашки, плюхнулся на диван так, что тот охнул, и принялся рассказывать про заказчика, который требовал провести розетку «вот сюда, но чтоб провода не видать и чтоб не сверлить». Ася хохотала, запрокинув голову. Матвей ловил себя на том, что и сам смеётся — по-настоящему, отпустив на минуту всё, что грыз в себе весь день. Гриша умел это: вытаскивать людей из их же голов, как вытаскивают застрявших котят, — и не подозревал за собой такого дара, а прознай он о нём, только отмахнулся бы.

«Ну что, — Гриша ткнул его локтем, — написал уже роман, который никто не поймёт? Я куплю, честно. Поставлю на полку рядом с теми. Стоят ровным рядком, а читать некому». Он гоготнул, довольный собой, и не заметил, что попал точнее, чем метил. Матвей усмехнулся беззлобно — злиться на Гришу было всё равно что злиться на погоду, — но что-то внутри отметило удар и аккуратно, как монету, отложило его в общую копилку.

Позже, когда Ася вышла на кухню, Гриша вдруг сказал — без всякого перехода и уже без смеха: «Ты это, не раскисай. Я в твоих книжках ни черта не смыслю, сам знаешь. Но ты у нас один такой, кто вообще этакое умеет. Мы-то что — провода да супы. А ты будто из другого теста слеплен». Он проговорил это грубовато, глядя в сторону, стесняясь собственных слов, и тут же, чтобы замаять неловкость, полез открывать вторую бутылку. Матвей хотел ответить что-нибудь настоящее — и не смог: слова, которых у него было в достатке для бумаги, всегда куда-то девались, стоило сказать их живому человеку в глаза. Он только кивнул.

И в эту самую минуту, глядя на них двоих — на смеющуюся Асю, на развалившегося Гришу с чашкой в широкой ладони, — Матвей вдруг отступил куда-то внутрь себя, как отступают на шаг, чтобы вместить в кадр всю сцену. Он смотрел на них уже не участником, а тем, кто после опишет: запоминал, как ложится свет на Асины волосы, как Гриша держит чашку тремя пальцами, будто боясь её раздавить. Он делал это не нарочно и не мог остановиться. Они были здесь, с ним, целиком, а он — только наполовину; вторая уже сидела где-то далеко, за ненаписанной страницей.

Ася, будто почуяв, что он ушёл в себя, поднялась, достала из чехла виолончель, села к ней и, не сказав ни слова, заиграла. Гриша осёкся на полуслове. В комнате стало тихо, только низкий, тёплый голос инструмента ходил по стенам, задевая что-то в самой глубине. Она играла негромко, для себя, чуть прикрыв глаза, и Матвей смотрел на неё с тоскливой завистью, которой стыдился: вот ведь — берёт смычок, и через минуту двое случайных людей в тесной комнате делаются лучше и теплее, чем были. Её искусство доходило сразу, без издательств, без тиражей, без долгих лет ожидания — от рук прямо к сердцу, здесь и теперь. А его слова лежали стопками на полу и молчали. Он любил её в эту минуту так сильно, что делалось больно, и, как всегда, к любви примешивалось это второе, едкое, чему он не давал имени.

Зазвонил телефон, оборвав последнюю ноту на середине. На экране высветилось «Соня», и Матвей, извинившись, вышел с трубкой в тесную прихожую и притворил дверь — сам не зная зачем.

«Ну что, держишься?» — было первым, что спросила сестра, как спрашивала всегда, сколько он себя помнил. Она была старше на много лет, и, когда схоронили мать — Матвеем едва сравнялось двенадцать, — не раздумывая взвалила мальчишку на себя: бросила и училище, и своё пение, о котором когда-то мечтала, пошла работать, тянула его одна и ни разу за все годы не обмолвилась, что где-то там, за ним, осталась и её собственная, несбывшаяся жизнь. Она не причитала, не спрашивала, поел ли он, не совала денег — знала, что этим взрос-

лого мужчину только унизишь. Своё «держишься?» она роняла коротко, как равному, за которого болит сердце, но которого уважают, — и в это одно слово умещались у неё и «здравствуй», и «я в тебя верю», и «я за тебя боюсь». Он сказал, что держится. Она помолчала, а потом, осторожно ступая словами, напомнила, что в субботу годовщина, они с Мишкой поедут на кладбище к маме и хорошо бы вместе. Матвей смотрел сквозь щель двери, как Гриша что-то показывает Асе руками, и говорил сестре «да, конечно, приеду», а сам чувствовал знакомое, стыдное раздражение — не на неё, а на то, что она видит его насквозь.

«Ну и ладно. Ты только не зарывайся там в свои бумаги совсем», — сказала она без нажима, и в этом коротком «не зарывайся» было больше заботы, чем в любых деньгах, которые она могла бы предложить и не предлагала. «Приезжай в субботу. Мишка соскучился, всё спрашивает, когда дядя расскажет ему сказку». Матвей закрыл глаза. У племянника был его смех — тот самый, что когда-то был у него самого, пока он не разучился. «Приеду, — сказал он мягче. — Расскажу». И, уже нажав отбой, ещё постоял минуту в тёмной прихожей, собираясь с силами вернуться к теплу, к свету, к живым.

Он вернулся в комнату, и всё было по-прежнему — вино, смех, виолончель в углу, — но между ним и этой сценой будто натянули тонкое стекло. Он видел, как Ася и Гриша спорят о какой-то ерунде, о фильме, которого он не смотрел, и думал, странно и холодно, что им, в сущности, довольно этого: тёплой комнаты, супа, дешёвого вина, спора о фильме. Их мир был замкнут и полон. А ему всего этого было мало, всегда было мало, и в этом «мало» он смутно чувствовал не то свою беду, не то свою вину.

Ушёл он поздно. Ася вышла проводить его на лестницу, накинув на плечи плед, и в жёлтом свете тусклой лампочки поцеловала его — коротко, буднично, как целуют того, кого будут целовать ещё тысячу раз. «Не пропадай», — сказала она. «Не пропаду», — сказал он. Оба в это верили, только каждый по-своему.

Дождь наконец кончился, и город лежал вымытый, чёрный, блестящий. Матвей шёл пешком через полгорода, чтобы не тратиться на транспорт, и тепло чужой квартиры остывало на нём с каждым кварталом, как одежда, вынесенная из дома на мороз. К своей нетопленной комнате он подошёл уже совсем прежним — голодным не едой, а тем, чего ни суп, ни вино, ни любовь не могли утолить.

Лампы он не зажёл. Сел к столу в темноте, среди непрочитанных своих стопок, и вдруг поймал себя на том, что весь вечер запоминал их — Асю, Гришу, голос Сони в трубке, — запоминал жадно и подробно, как запоминают то, с чем скоро придётся расстаться. Он не знал, откуда взялось это чувство, и списал его на усталость. Так писатель прощается с героями, которых ещё не начал писать.

Глава третья

К Августу Львовичу он поехал через день после отказа — не жаловаться, а за тем единственным, ради чего к старику вообще ездят: за правдой. Тот жил на другом краю города, в тесной квартире на первом этаже, куда не заглядывало солнце и где вместо солнца были книги — они стояли, лежали, громоздились от пола до потолка, так что казалось, будто самый воздух там замешан на бумаге и типографской краске.

Дом прятался в глубине двора, за облетевшими липами, и подъезд встретил Матвея знакомой смесью запахов — кошек, сырости и чьей-то вечной варёной капусты. Он поднялся к двери, обитой растрескавшимся дерматином, и, прежде чем позвонить, постоял, собираясь: к Августу Львовичу нельзя было являться расхлябанным — старик читал человека, как текст, с первого абзаца и так же не спускал фальши. Матвей одёрнул куртку, будто это могло что-то поправить, и надавил кнопку. Звонок дребезжал за дверью долго и надтреснуто, как и всё в этой квартире.

Открыл старик не сразу — двигался он медленно, тяжело опираясь на палку, — и, увидев Матвея, не улыбнулся, а как-то весь смягчился, будто в комнату впустили тепло. Ему было под восемьдесят. Когда-то он редактировал больших писателей в большом издательстве, знал наизусть половину русской поэзии и не прощал в тексте ни одной лишней запятой. Теперь он почти не выходил из дому, читал с лупой и доживал среди книг, как доживают среди старых друзей. «Пришёл, — сказал он вместо приветствия. — Ну проходи, раз пришёл. Чай будет ненастоящий, другого нет».

Он налил чаю — жидкого, чуть тёплого, в стакане с латунным подстаканником, помнившим, кажется, ещё те издательства, где Август Львович был молод и всесилен. Жены у старика давно не было, детей не случилось; книги заменили ему и то и другое, и о писателях, живых и мёртвых, он говорил как о родне — с нежностью, обидой и той бесцеремонной короткостью, что бывает лишь между своими. Матвей был, пожалуй, последним живым существом, кому старик ещё был нужен, и оба это знали, и оба об этом молчали.

Знакомы они были шесть лет — с того дня, когда Матвей, ещё моложе и злее, прислал старику самотёком повесть, ни на что не надеясь, а тот вдруг позвонил сам, поздним вечером, и говорил с ним два часа кряду так, будто они всю жизнь спорили о литературе. Ни единой его вещи Август Львович не пристроил — не было у него для этого давно ни власти, ни здоровья, — но делал то, чего не делал больше никто: читал его всерьёз. Для того, кого не читают, это дороже любого договора. Матвей приходил к нему, как приходят к последнему свидетелю того, что ты вообще есть на свете.

Тот первый разговор он помнил до сих пор. Старик тогда не хвалил — он разнёс повесть в клочья, страница за страницей, безжалостно и весело; но в этом разносе было столько внимания, столько настоящего интереса к каждой запятой, что Матвей, вешая под утро трубку, вдруг заплакал: впервые за годы кто-то отнёсся к его словам как к чему-то, что стоит труда разбирать. С той поры он таскал старику всё, что писал, и всякий раз шёл, как идут на суд, которого разом боятся и жаждут, — потому что только там, в бумажной норе на первом этаже, его существование на минуту делалось несомненным.

На столе, придавленная лупой, лежала распечатка последней его вещи — той самой, что накануне вернули из издательства. Август Львович придвинул её, полистал, нашёл нужную страницу. «Вот здесь, — сказал он, ткнув сухим пальцем, — где у тебя смерть приходит хозяином. Это настоящее. Так нынче мало кто умеет — чтобы у меня, старика, всё уже читавшего, на секунду стало сердце». Он снял очки и посмотрел на Матвея прямо. «Ты талантлив, Матвей. Говорю не затем, чтобы погладить, — ты знаешь, я не глажу. Ты по-настоящему талантлив. Может, единственный из всех, кого мне приносили за последние годы».

Матвей ждал этого «но», как ждут второго удара, зная, что первый был только замахом. И оно пришло. «Но читать тебя нельзя, — сказал старик спокойно, без жалости. — Не оттого, что трудно. Оттого, что холодно. Ты пишешь так, будто мстишь. Будто заранее презираешь того, кто возьмёт твою книгу, — за то, что он посмел до сих пор тебя не полюбить. И читатель это чувствует, поверь. Читатель глуп, но безошибочно чувствует, когда его не любят, — как чувствует собака».

Матвей начал было что-то — что не обязан заискивать, что не станет писать глупее, чем думает, — но старик поднял ладонь. «Я не про «глупее». Я про любовь. Талант ведь не имущество, Матвей, а ссуда. Тебе дали в долг что-то очень большое, и однажды спросят, как ты с этим обошёл. И весь вопрос в том, на что ты это потратишь: на то, чтобы тебя полюбили, или на то, чтобы доказать, какие вокруг слепцы. Со вторым долго не живут. Со вторым, я видел, пропадают». Он проговорил это тихо, и в наставшей тишине было что-то тяжёлое.

Матвей молчал, глядя в стакан. Он знал, что старик прав, и именно потому не мог согласиться: согласиться значило признать, что долгие годы непризнания были не только виной глухого мира, но и его собственной, — а этой мысли он вынести не мог. Легче было думать, что он холоден оттого, что мир холоден к нему; что не он не любит, а его не любят первым. Он держался за эту обиду, как держатся за перила над пропастью.

«Дай сюда», — Август Львович протянул руку, и Матвей нехотя подвинул ему распечатку. Старик надел очки, похлопал палец, отыскивал страницу. «Вот. Слушай себя». И начал читать вслух, медленно, своим сухим надтреснутым голосом. И, странное дело, под этим голосом собственные фразы Матвея зазвучали иначе — точнее и холоднее, чем он думал их, когда писал.

«Красиво, — сказал старик, дочитав абзац. — Умно. Каждое слово на месте, как патрон в обойме. И ни одного живого. Вот тут, — он ткнул пальцем, — ты описываешь, как мать хоронит сына, а пишешь так, будто разглядываешь обоих в микроскоп. Тебе любопытно, как это устроено. Тебе не больно». Он снял очки. «А чтобы больно стало читателю, сперва должно стать больно тебе. Иначе ты не писатель, а патологоанатом».

«Может, я и есть патологоанатом», — сказал Матвей злее, чем хотел.

«Может, — легко согласился старик. — Только патологоанатомов не читают на ночь. Их зовут, когда всё уже кончено».

Матвей отвернулся к окну. За невымытым стеклом качались голые ветки, и ему хотелось разом и уйти, хлопнув дверью, и остаться здесь навсегда — в тепле этих книг, под этим безжалостным любящим взглядом, единственным, кажется, на свете, что видел его насквозь и всё равно не отворачивался. Он не умел сказать старику ничего из этого. Он вообще, как выяснилось, не умел выговорить вслух ничего важного: весь его дар оставался на бумаге и намертво молчал в горле.

Чтобы не отвечать, Матвей отвернулся к полкам — и взгляд его зацепился за корешок, тёмный, потёртый, без имени на торце. Он потянул книгу, раскрыл титул: «Полынь». Автор — И. Северин. Имя это он где-то слышал, но смутно, как слышат имена с очень давних, ещё школьных полок. «Северин», — прочёл он вслух. Август Львович за его спиной замолчал так, что Матвей обернулся.

«Положи, где взял, — сказал старик, и в голосе его было не то суеверие, не то боль. — Впрочем, нет. Сядь. Раз уж взял — слушай». Он заговорил, глядя не на Матвея, а куда-то в корешки, будто читал по ним. Северин, рассказал он, объявился из ниоткуда лет сорок назад: никому не известный молодой человек — лет двадцати пяти, не старше, — без роду и племени, без единой прежней строчки, принёс в издательство рукопись, вот эту самую «Полынь». Её прочли за ночь, все по очереди, передавая друг другу листы, и наутро молодой редактор Август плакал в уборной, потому что понял: сам так не напишет никогда.

Матвей спросил, почти против воли, о чём она. Старик усмехнулся: «О чём... Да как тебе сказать. О человеке, который получил всё, чего просил у жизни, и слишком поздно понял, чего

именно просил. Кажется, просто. Таких книг сотни. Только те сотни — про это, а «Полюнь» — это само. Читаешь — и будто платишь чем-то, страница за страницей. Выходишь другим и не сразу поймёшь, чего в тебе не стало». Он помолчал. «Я перечитывал её трижды за жизнь. И всякий раз потом месяц не мог писать: рука не поднималась. Так стыдно делалось за своё».

Глаза его сделались далёкими. «Я ведь помню ту ночь, когда мы её читали, — сказал он тише. — Молодые все, злые, ни во что не верящие, — а тут сидим в редакции за полночь, передаём друг другу листы, и никто не уходит, и слова вымолвить никто не может. Главный наш, кремень, войну прошедший, вышел в коридор — и там, я видел, плакал у окна. К утру мы поняли, что держали в руках то, ради чего вообще заведено наше ремесло, — и что сами так не сможем никогда. Особенное чувство. Счастье и приговор в одном стакане».

«А после он пришёл за авторскими экземплярами — сам Северин. Я его и видел-то однажды, минут десять. Молодой, худой, вежливый до странности. Взял книги, поблагодарил, пошёл к двери — и в дверях обернулся: «Берегите её. Она дороже, чем кажется». Я думал — о книге. Теперь думаю: о другой».

«Книга вышла и обрушилась на страну, как обрушивается то, чего давно ждали, сами того не зная. О Северине заговорили все, его равняли с великими и находили, что сравнение не в пользу великих. А потом — ничего. Понимаешь? Ни-че-го. Ни второй книги, ни третьей. Он будто выложился весь в одну эту вещь — и зачерпнуть больше не мог. Отказывался от всего: от премий, от встреч, от денег, а деньги ему несли уже вагонами. Заперся, перестал открывать. Говорили — сошёл с ума, говорили — ушёл в монастырь, говорили всякое. А после он попросту исчез: тихо, без похорон, без могилы. Перестал быть. И по сей день никто не знает, что с ним случилось».

«И знаешь, что всего страннее? — продолжал старик. — Люди его потом видели. Годы спустя. Один божился, что встретил Северина на вокзале в чужом городе: сидит на скамье, глядит в одну точку, старик стариком, а ведь и пятидесяти не было. Другой будто подал ему на паперти и лишь после узнал. Врут, конечно. Только врут всегда одинаково: что не умер он, а как бы истратился. Догорел, а коптить остался». Август Львович поёжился. «Сорок лет ношу эту историю и до сих пор не пойму, чего в ней больше — жалости или страха».

Матвей слушал, и что-то в этой судьбе отзывалось в нём странно и сладко — как отзывается чужая жизнь, в которой вдруг узнаёшь свою. «А будто видели его ещё раз, много позже, — сказал старик совсем тихо, — уже под самый конец, незадолго до того, как он пропал. Молодой ещё человек, а глаза — старее моих теперешних. Такие глаза бывают у того, кто взял в долг больше, чем сумеет отдать, и уже это понял. Я тогда, дурак, позавидовал его славе. Теперь не завидую». Он помолчал. «Хотя вру. Немножко и теперь завидую — не славе, а тому, что он сумел после этого замолчать. Я вот не сумел, всё скрипел пером, а толку». И прибавил, будто про себя: «Иногда мне кажется, что за «Полюнь» заплатил не тот, кто её написал. Или заплатил не тем, чем платят за книги».

«Вы что же, — усмехнулся Матвей, — верите во всё это? В цену, в расплату? Вы, редактор с полувековым стажем?»

«Я верю в то, что видел, — спокойно ответил старик. — А видел вот что: человек написал совершенную книгу и после неё перестал существовать. Называй как хочешь — выгоранием, безумием, судьбой. Слова разные, а дырка в мире одна». Он глянул на Матвея поверх очков. «Ты вот тоже не веришь. И правильно делаешь. Только неверие, знаешь, плохая броня. Держит ровно до той секунды, пока по-настоящему не понадобится».

«И вот ещё что рассказывали, — Август Львович понизил голос, хотя, кроме них, в квартире не было ни души. — Будто держал он при себе вторую книгу. Не для чтения — её он не показывал никому и никогда, носил при себе, как иные носят образок или бритву. Кто видел мельком — говорил, там и не напечатано ничего: не то рукопись, не то счётная книга, не разберёшь. Он с ней не расставался до самого конца. Сгинул Северин — сгинула и она. Ни в описи,

ни в архиве, нигде». Старик пожал плечами. «Врут, наверное. Про таких всегда врут. Только эту вторую книгу я отчего-то запомнил крепче первой».

Он вдруг посмотрел на Матвея пристально, снизу вверх, поверх сползших очков, и Матвею стало не по себе. «Ты чего это загорелся весь, — проговорил старик медленно. — Я тебе про гибель толкую, а у тебя глаза как у голодного перед витриной. Вот это в тебе и страшно, Матвей. Другому — урок, а тебе, гляжу, соблазн. Смотри у меня». Он сказал это будто в шутку, но шутки не вышло, и оба услышали её как не-шутку.

Он спохватился, махнул рукой — старческая болтовня, не слушай. Но, провожая Матвея до двери, прибавил ещё одно, буднично, словно вспомнил хозяйственную мелочь: «Да, кстати. Библиотека его недавно всплыла, распродают. Какой-то букинист на Ветошной скупил остатки — то ли из квартиры, то ли бог весть откуда. Сходи, посмотри. Тебе полезно подышать чужим величием — глядишь, своего поубавится». Он усмехнулся, смягчая укол, и, как всегда на прощание, сунул Матвею в карман сложенную купюру, не слушая возражений: «На чай. На настоящий».

У самой двери он вдруг придержал Матвея за рукав. Рука старика была лёгкая, почти невесомая, и Матвей впервые, кажется, заметил, до чего Август Львович стал прозрачен за последний год: кожа как папиросная бумага, под ней синие верёвочки вен. «Ты не думай, что я пилю тебя от вредности, — сказал старик тихо, без обычной насмешки. — Просто я скоро уйду, Матвей, — не спорь, я знаю, — а после меня тебя читать некому. Совсем некому. И мне за тебя страшно. Ты талантливее всех, кого я знал, и несчастнее всех, кого я знал, а это опасное сочетание: из таких выходят либо большие писатели, либо большие беды». Он отпустил рукав. «Иди уж. И заходи — не жди, пока позову».

На улице уже стемнело. Матвей шёл к метро, засунув руки в карманы — в одном чужая купюра, в другом собственная гордость, помятая, но целая, — и не знал, на что злится сильнее: на то ли, что старик сказал о нём правду, или на то, что мир, кажется, устроен так, чтобы этой правды не услышал никто, кроме одного полуслеплого старика в бумажной норе. Но поверх злости, тише и глубже, в нём уже поселилось имя. Северин. «Полынь». Глаза человека, взявшего в долг больше, чем можно отдать.

Дома он не мог уснуть. Лежал в темноте, слушал, как за стеной у соседей капает вода, и думал вовсе не о том, о чём следовало бы: не о правде, что сказал ему старик, не о ссуде, которую однажды спросят. Он думал о человеке, написавшем одну совершенную книгу, получившем за неё всё и после исчезнувшем. И, вместо того чтобы ужаснуться, ловил себя на позорной, сладкой мысли: а ведь он бы согласился. На всё это — на славу, на исчезновение, на любую цену — согласился бы не раздумывая, лишь бы написать такое и быть услышанным хоть однажды. К утру он решил, что в лавку на Ветошной всё-таки сходит. Просто посмотреть, сказал он себе. Просто из любопытства.

Глава четвёртая

Ветошная оказалась короткой кривой улочкой в старой части города — из тех, что не ведут никуда и оттого сохранились почти нетронутыми: облупленные фасады, водосточные трубы, ржавые кронштейны для вывесок, давно уже ничего не держащие. Лавку он отыскал не вдруг — она пряталась в полуподвале, и о ней говорили лишь выцветшая табличка „Книги“ да три ступеньки вниз, стёртые так, будто по ним спускались столетиями.

Он чуть было не повернул назад. Всю дорогу от метро его не оставляло глупое чувство, что он делает что-то не то — не стыдное, а именно не то, будто свернул с привычного пути в переулок, которого прежде не замечал. Сеял мелкий, безнадежный дождь. В такую погоду и в таком настроении легче всего верится, что мир полон потайных дверей, и Матвей поймал себя на том, что ему этого почти хочется: до того опротивела ему собственная, слишком понятная, слишком безнадежная жизнь. Он спустился по трём ступеням.

Внутри было темно и тесно, пахло пылью, клеем и тем особым духом старой бумаги, который Матвей узнал бы из тысячи, — запахом времени, разъедающего слова. Книги стояли, лежали, свисали над головой с самодельных полок, подпирали друг друга, как пьяные. Между ними оставались проходы в человеческое плечо шириной, и в конце одного, за прилавком, под жёлтой лампой сидел хозяин.

Ни единого покупателя, кроме него, в лавке не было, да Матвей и не представлял, кто сюда заходит и чем это место держится на плаву. Часов на стене не висело. Свет лампы был ровен и недвижим, и время внутри будто загустело, остановилось между страниц, как засушенный меж ними цветок. Матвею сделалось не по себе, и, чтобы прогнать это, он нарочно громко кашлянул — но звук вышел глухой, сразу увязший в бумаге.

Из глубины лавки, из-за книжных стен, доносилось едва слышное: то ли где-то капало, то ли старик бормотал сам с собой — не разобрать. Матвей пошёл на голос хозяина между полок, задевая плечами корешки, и книги отзывались на прикосновение сухим шелестом, будто перешёптывались у него за спиной. Мнителен он не был — по крайней мере, считал себя таким; но здесь, в этом загустевшем воздухе, мнительность приходила сама, как приходит зевота или озноб.

Это был очень старый человек — насколько старый, сказать было трудно, потому что старость его давно перешла в какое-то ровное, без возраста, состояние, как у мебели или у самих книг. Он не поднял головы, когда Матвей вошёл, и заговорил первым, словно продолжая давно начатый разговор: «Ищите что-то или прячетесь от дождя?» — «Ищу, — сказал Матвей. — Мне говорили, у вас библиотека Северина». Тогда старик поднял глаза.

Он смотрел на Матвея долго, без всякого выражения, как смотрят на страницу, которую перечитывают. «Северина, — повторил он без вопроса. — Всем вдруг понадобился Северин». Он кивнул в глубь лавки: «Там, в углу, что от него осталось. Немного. Люди думают: купишь книги мертвеца — перейдёт его ум. Не переходит. Переходит одна пыль». И снова опустил голову — не к чтению, заметил Матвей, а просто к закрытой книге под ладонями, будто грел о неё руки.

В углу, на нижних полках, стояло десятка три томов — всё, что осталось от человека, когда-то потрясшего страну. Матвей брал их один за другим. Это были чужие книги, те, что читал сам Северин: философия, старые поэты, богословие, потрёпанные, с загнутыми углами. Кое-где на полях темнели карандашные пометки — быстрый, острый, летящий почерк, и Матвей поймал себя на том, что читает не строки, а эти пометки, жадно, как подглядывают в чужие письма. Возле одного абзаца — о том, что человек платит за всякий свой дар, только не всегда знает чем и когда, — на полях стояло, дважды подчёркнутое, одно слово: „Верно“.

Странное чувство овладевало им, пока он листал эти чужие книги, — чувство узнавания. Человек, чертивший пометки, спорил на полях с мёртвыми мудрецами так же зло и одиноко, как спорил сам с собою по ночам Матвей. Подчёркивал то же, отчёркивал то же, ставил те же нетерпеливые вопросительные знаки. Матвею стало казаться, что он держит в руках не книги, а чью-то распахнутую голову — и что голова эта странно похожа на его собственную.

В одном из томов — старом растрёпанном молитвослове, неожиданном на этой полке — исчеркана была едва ли не каждая страница. Северин спорил и с Богом, как со всеми: „а если Он и есть тот заимодавец?“, „нельзя вернуть того, что взял не деньгами“, „плата приходит не тогда, когда ждёшь, и не оттуда“. Матвей листал, и холодок узнавания сменялся уже другим — тем, что пробирает, когда подслушанное вдруг оказывается про тебя. Он захлопнул молитвослов.

В другой книге, ближе к концу, между страниц лежал сложенный вчетверо листок. Матвей развернул его. Не рукопись, не письмо — несколько строк, оборванных на середине, тем же летящим почерком: „...и ведь я знал. Знал с самого начала, что беру займы. Думал — заплачусь славой, деньгами, здоровьем, чем угодно. Смешно. Оно берёт не то, что предлагаешь. Оно берёт...“ — дальше было оторвано. Матвей перечёл дважды, ничего не понял и всё же почувствовал, как по спине прошёл холодок, беспричинный и оттого неприятный. Он сунул листок обратно и поставил книгу на место быстрее, чем следовало бы.

Ниже, на самой нижней полке, отдельно от прочих, лежала тонкая книга в знакомом тёмном переплёте — «Полынь». Экземпляр самого Северина: на форзаце его рукой было выведено что-то и жирно зачёркнуто, так что не прочесть, а ниже, уже мельче, дописано: „не читай это на ночь. и вообще не читай. живи“. Матвей усмехнулся было — и не смог. Он поставил «Полынь» обратно, решив, что купит её после, в другой раз, в другом, дневном настроении.

«А что с ним случилось?» — спросил он через плечо. «С кем?» — «С Севериным». Старик долго молчал, и Матвей уж решил, что тот не ответит. «Ничего с ним не случилось, — сказал наконец хозяин. — В том-то и беда. Иные умирают вовремя, а иные будто стираются — как надпись, что трут и трут, пока не останется одна голая бумага. Он, сдаётся мне, из вторых». Больше старик не прибавил ничего, и допытываться Матвей не стал.

«А вы его знали?» — спросил он всё же. Хозяин долго не отвечал, перекладывая какие-то квитанции. «Книги его знал, — сказал наконец. — Человека — нет. Человека у таких к концу и не остаётся, одни книги». Он поднял на Матвея выцветшие глаза. «Вы, я гляжу, из пишущих. По рукам видно — как книгу берёте: не за корешок, а будто здороваетесь. Пишущим сюда лучше не ходить, молодой человек. Пишущие тут иной раз находят не то, что искали».

И тогда он увидел её. Она стояла с самого краю, чуть отдельно от прочих, будто её поставили сюда не вместе с ними, а после: толстая книга в тёмном переплёте, без единой буквы — ни на корешке, ни на обложке. Матвей потянулся к ней просто оттого, что глаз не проходит мимо безымянного, — и, коснувшись, отдернул руку. Переплёт был холодным. Не прохладным, как все книги в нетопленном подвале, а по-настоящему холодным, как металл на морозе, — хотя лежал в тепле, у самой лампы.

Он постоял секунду, злясь на себя за глупый детский испуг, и всё-таки взял её снова. На этот раз холода не было — обычный старый переплёт, чуть шершавый под пальцами. Показалось, сказал он себе. Книга была тяжелее, чем полагалось бы по размеру, и, пока он держал её, сделалось странно тихо: не то чтобы звуки пропали, а будто он сам отодвинулся от них на шаг, как отодвигаются под воду. Он раскрыл её наугад. Страницы были пусты — желтоватые, разлинованные бледными столбцами, как в старой счётной книге, и ни единой записи.

Приглядевшись, он различил над столбцами бледные, полустёртые заголовки — не то печатные, не то от руки, но чернила выцвели так, что слов было не разобрать. Осталась лишь смутная сетка граф, ждущих, чтобы их заполнили. Приходно-расходная книга, решил Матвей,

гроссбух какой-нибудь давно прогоревшей лавки. Мысль была скучная и успокаивающая, и он ей обрадовался.

Он должен был поставить её обратно. Разумный человек так и сделал бы: пустая счётная книга, холодная и тяжёлая, ни титула, ни автора — на что она ему? Но Матвей держал её и не мог разжать пальцев. От неё исходило то же, что от пометок Северина, — ощущение, что вещь эта имеет к нему прямое, ещё не названное отношение, что она давно, может быть всю его жизнь, дожидалась его именно здесь, в этом углу, под этой лампой. Он знал, что это вздор. И всё-таки понёс её к прилавку.

«Сколько за эту?» — спросил он, подойдя. Старик глянул на книгу в его руках, и что-то в его лице дрогнуло — быстро, неуловимо, как рябь по воде. «Эта не из его, — сказал он. — Эта лежала отдельно. Я и не помню, откуда она у меня». Он помолчал, будто прикидывая, и назвал цену — грошовую, смешную, как берут на развале за пустой старый гроссбух, которому одна дорога — в растопку. Матвей полез за деньгами, за той самой мелочью, что осталась от купюры Августа Львовича, и, пока отсчитывал монеты, старик вдруг накрыл его руку своей, сухой и неожиданно крепкой: «Молодой человек. Пустые книги для того и пусты, чтобы в них ничего не писать. Запомните. А теперь идите, я закрываюсь». Монеты он сгрёб не глядя, будто и не деньги брал, а торопился поскорее сбыть с рук и книгу, и покупателя.

Матвей вышел на воздух с книгой под мышкой и не сразу понял, отчего ему так не по себе. Взял-то он её за гроши — за пустой старый гроссбух и того было много, — а чувство осталось такое, будто заплатил куда дороже. Старик и мелочь-то принял через силу, торопливо, лишь бы он скорее ушёл. Значит, дрянь, макулатура, сказал он себе. Но объяснение, как и все объяснения в тот день, не держалось, соскальзывало.

На улице уже темнело — хотя Матвею казалось, будто пробыл он внизу всего несколько минут, а вышло, что почти час. Он оглянулся на табличку «Книги», на три стёртые ступени, и на секунду ему почудилось, что лавки этой и быть-то не должно, что она из тех мест, которых назавтра не находишь по прежнему адресу. Он усмехнулся своей мнительности, сунул тяжёлую книгу в сумку — она оттянула ремень, как кирпич, — и пошёл к метро, чувствуя её вес на плече всю дорогу.

В вагоне он не удержался — достал книгу и раскрыл на коленях. Напротив сидела женщина с ребёнком. Мальчик, до того хныкавший, вдруг затих и уставился на раскрытые пустые страницы через весь вагон — серьёзно, не мигая, как смотрят дети на то, чего взрослые не видят. Мать проследила за его взглядом, ничего не поняла, зябко повела плечами и пересадил ребёнка на другую сторону. Матвей закрыл книгу. Ему стало и смешно, и неудобно, и он сам не знал, чего больше.

Он вышел из метро и остаток пути нёс сумку осторожно, чуть на отлёте, как носят то, что может разбиться или укусить, — и злился на себя за это, и не мог перестать. Дождь усилился, фонари расплывались, и знакомая улица казалась чуть-чуть не своей, сдвинутой на полтона, как во сне, где всё как всегда и всё же не так.

Дома он положил книгу на стол, под лампу, и долго не зажигал света — просто сидел рядом. Комната была прежняя, холодная, прибранная, мёртвая, но с появлением этой вещи в ней что-то неуловимо переменялось, будто вошёл ещё кто-то, сел в углу и молчит. Матвей списал это на усталость, на слова старика, на историю Северина, засевшую в голове. Вскипятит чай, поставит кружку на край стола и снова раскрыл книгу.

Он и сам не понимал, зачем притащил домой пустую счётную книгу, отданную за сущие гроши. Разумнее всего было бы забросить её на полку к прочему хламу и забыть. Но что-то не давало: рука сама тянулась к тёмному переплёту, палец сам собою обводил то место, где полагалось быть названию и где не было ничего. «Пустые книги для того и пусты, чтобы в них ничего не писать», — вспомнил он слова старика и усмехнулся: сказано было так, будто

написать в ней что-нибудь ему нестерпимо захочется. И, поймав себя на том, что действительно хочется, усмехнулся ещё раз — уже не так уверенно.

Он обошёл стол, сел, снова встал. Комната казалась меньше обычного, будто книга заняла в ней больше места, чем занимала на столе. Взгляд то и дело возвращался к тёмному переплёту. Матвей попробовал работать — не вышло. Попробовал читать — буквы разбежались. В конце концов сдался и просто сидел, глядя на неё, как глядят на телефон, от которого ждут звонка. За окном стемнело окончательно. Где-то в доме хлопнула дверь, засмеялись, спустились по лестнице — чужая, тёплая, обыкновенная жизнь шла себе мимо, а он сидел в темноте наедине с пустой книгой.

Страницы были по-прежнему пусты — все, сколько он ни листал. Только на первой, в самом верху, теперь — он готов был поклясться, что днём, в лавке, этого не было — проступали несколько строк. Выведены они были не рукой — во всяком случае, не той, что чертила пометки на полях чужих книг: буквы стояли странно, вывернуто, как в зеркале, будто письмо обращено было не наружу, к читающему, а внутрь себя. Разбирать их приходилось медленно, по одной, поднося к свету и так и эдак, а смысл всплывал не сразу, точно со дна. Матвей придвинул лампу ближе — и, уже разбирая первую строку, почувствовал, как в комнате снова стало тихо-тихо, как под водой.

Глава пятая

Он придвинул лампу и прочёл — сначала про себя, а потом, не поверив глазам, вслух, шёпотом, спотыкаясь на каждом слове.

Ты, кто держит меня. Если ты дочитал до этой строки, я уже выбрала тебя — как выбирала и прежде.

Я исполню одно твоё желание — то, что лежит на самом дне, глубже всех прочих. Одно, и только одно, и только раз.

Многие держали меня в руках. Ни один не был готов к плате. Закрой меня и сожги — так будет милосерднее к тебе.

Но ты не закроешь. И потому знай одно, единственное, что я скажу тебе без обмана: цену назначаю не ты. И платят мне не деньгами.

Он попробовал отыскать во всём этом чью-нибудь руку — и не нашёл. Это не был почерк, во всяком случае не тот, острый и летящий, что чертил пометки на полях чужих книг: буквы стояли вывернуто, зеркально, будто письмо очень древнее и обращённое не наружу, к читающему, а внутрь себя. Матвею было бы легче, окажись это чьей-то рукой — хоть севериновской, хоть чьей угодно: у почерка есть хозяин, а у хозяина есть предел. Здесь хозяина не было. Строки будто вывела сама книга.

И обращены они были к нему — не к абстрактному читателю, не к потомкам, а именно к тому, кто держит её сейчас, в эту минуту, в этой комнате. „Я уже выбрала тебя“. Матвей огляделся, будто мог кого-то застать. Глупо, конечно: в комнате не было никого, только он, лампа да его непрочитанные стопки на полу, свидетели всей неудавшейся жизни.

Он откинулся на спинку стула и засмеялся — коротко, невесело, скорее выдохнул, чем засмеялся. Розыгрыш, сказал он себе. Старая книга, выцветшие чернила, разыгравшееся воображение измученного отказами человека, которому под утро мерещится в темноте то, чего он ждёт наяву. Он даже ощутил что-то вроде облегчения: у всякого наваждения находится трезвое имя, стоит его назвать.

И всё же он перечитал строки ещё раз, и ещё. Слова были нехитрые, почти безыскусные — и именно этим брали. Ни завываний, ни готической мишуры. Была усталая, будничная убеждённость — так предупреждают не о выдумке, а о яме на дороге, в которую кто-то уже упал. „Закрой меня и сожги“. Матвей поймал себя на том, что рука его лежит на обложке — и не закрывает, а гладит.

Оставалось, правда, одно неудобное обстоятельство: этих строк днём не было. Матвей помнил пустую первую страницу — помнил ясно. Он поскрёб буквы ногтем: чернила не смазывались, будто впитались в самую бумагу, будто были там всегда. Не заметил, сказал он себе. В лавке было темно, я держал её у окна, свет падал иначе. Объяснение было так себе, но другого не находилось, а без объяснения человек не может — и Матвей за него ухватился.

И всё-таки он не закрывал книгу. Он сидел над ней в нетопленной комнате, и в нём поднималось что-то злое и весёлое, отчаянное — как у человека, которому уже всё равно. На днях его в очередной раз вернули из издательства, как возвращают по чеку неудачную покупку. Годы он писал в пустоту. И вот перед ним лежала книга, которая, если хоть на грош поверить безумцу, предлагала ему то самое, единственное. Ну и что я теряю, подумал он. Ровным счётом ничего. У меня и нет ничего, что можно было бы потерять.

Он поймал себя на том, что уже примеряет желание — всерьёз, будто оно и вправду сбудется. Не денег: деньги — пошло, деньги приходят и уходят. И не любви — любовь у него была, вон, за супом, за виолончелью, и всё равно её было мало. Ему нужно было одно, всегда одно и то же, то, чего не купишь и не выпросишь: чтобы его прочли. Чтобы совершенно чужой человек в незнакомом городе однажды закрыл его книгу и долго сидел, не в силах вернуться в

собственную жизнь. Он так ясно это представил, что защемило в горле, и в остром, стыдном этом желании потонули и записка безумца, и слова букиниста, и весь его собственный трезвый ум.

Он встал, прошёлся по тесной комнате — три шага туда, три обратно, налил воды, выпил, поставил стакан. Разумная его половина говорила ясно и скучно: это бумага, чернила и старческий бред. Ты взрослый человек. Ложись спать. Но была и другая половина — та, что годами глотала отказы, стояла в полупустых залах, слушала, как похрапывает единственная слушательница, и эта половина смотрела на книгу голодными глазами и молчала, потому что ей нечего было терять и незачем было спорить.

Ему вспомнилась вдруг мать — как она, приходя за полночь, брала со стола его исписанные листки, держала их с уважением и беспомощностью, потому что читать по-настоящему не умела и стеснялась этого, и говорила: «Хорошо, сынок, красиво». Вспомнилась Соня в полутёмном библиотечном зале — единственная, кто досидел до конца. Вспомнился Гриша со своим «целый ряд, а читать некому». Вся его жизнь вдруг предстала ему длинной чередой людей, которые любили его и не могли прочесть, и в этой мысли было столько застарелой боли, что рука сама потянулась к книге. Пусть. Пусть хоть так. Хоть раз.

Он взял ручку. Помедлил. Вспомнил старика в лавке, его сухую, неожиданно крепкую руку поверх своей: «Пустые книги для того и пусты, чтобы в них ничего не писать». Вспомнил — и отмахнулся: мало ли что бормочет выживший из ума букинист. Ручка зависла над первой пустой строкой, над бледной сеткой граф, что будто ждали, чтобы их заполнили. Сердце почему-то билось так, как не бьётся из-за шутки.

Ручка коснулась бумаги — и остановилось. На одну последнюю секунду сделалось ясно и трезво, как бывает ясно за миг до непоправимого: он ещё может не писать. Ещё ничего не случилось. Стоит положить ручку — и всё останется как было: холодная комната, стопки на полу, честная, безнадёжная, но своя жизнь. Он занёс это в уме, как заносят на весы, и то, другое, голодное, перевесило. Оно всегда перевешивало.

«Хорошо, — сказал он вслух, в пустую комнату, насмешливо, чтобы не так страшно. — Хорошо. Раз ты у нас такая волшебная». И написал, ровным, чуть подрагивающим почерком, одну строку, ту самую, что носил в себе годами и никогда не смел произнести:

Хочу, чтобы меня читали. Чтобы наконец узнали, чего я стою.

Он перечитал написанное и, помолчав, повторил вслух — уже без насмешки, тише, чем хотел, потому что в тишине комнаты слова прозвучали не шуткой, а признанием, вырвавшимся против воли: «Хочу, чтобы меня читали». Голос его дрогнул, и стало стыдно — так стыдно, будто его подслушали.

Слово повисло в воздухе комнаты и не упало. Матвей сидел, не смея шевельнуться, с той особенной неподвижностью, с какой замирают, сказав вслух то, чего говорить было нельзя. Ему было тридцать лет, он был неглуп, начитан, ироничен и отлично знал, что книги не исполняют желаний, и всё же сейчас, в этой стылой комнате, всем существом ждал ответа, как ждёт его ребёнок, зажмурившийся над задутой свечкой. Стыд и надежда мешались в нём так туго, что трудно было дышать.

С минуту ничего не происходило. Разумеется, ничего не происходило — да и что могло? Матвей уже открыл рот, чтобы посмеяться над собой вслух, и осёкся. Чернила его строки медленно темнели, наливались, будто уходя вглубь страницы, впитывались всё глубже — и на глазах меняли самое начертание: ровные его буквы кривились, выворачивались, тянулись справа налево, пока не сравнялись с теми, первыми, древними, зеркальными, и не сделались от них неотличимы, словно писала их не рука его, а сама книга, и писала всегда. А внизу страницы, в графе, которую он готов был поклясться, что оставил пустой, проступило и застыло короткое бледное слово, которого он не выводил: „Принято“.

Матвей сидел не шевелясь. В комнате сделалось очень холодно — той настоящей, идущей из-под переплёта стужей, что он уже чувствовал однажды, в лавке. Он захлопнул книгу. Сердце колотилось. «Показалось, — сказал он в третий раз за вечер, и в третий раз это слово ему не помогло. — Устал. Начитался стариковских бредней». Он отодвинул книгу на дальний край стола, подальше от себя, будто она могла дотянуться.

Через несколько минут, не выдержав, он снова придвинул книгу и раскрыл на первой странице — проверить. Строки были на месте: и та, древняя, вывернутая, и его собственная, теперь неотличимая от неё, слитые в одну руку — в руку самой книги. А слова „Принято“ внизу не было. Пустая графа, бледная сетка — и ничего. На это пустое место Матвей смотрел дольше, чем на что-либо за весь вечер. Останься слово — было бы, по крайней мере, чему ужасаться. Но его не было, и это оказалось хуже: теперь он не мог даже быть уверен, что оно вообще являлось.

Он сидел, обхватив плечи руками, и слушал тишину. В батарее тонко тенькнуло, остывая, и Матвей вздрогнул всем телом, как не вздрагивал с детства. Больше всего его напугало не то, что он увидел, а то, с какой готовностью, с каким постыдным облегчением какая-то часть его приняла увиденное. Будто она давно этого ждала. Будто ради этого он и шёл сегодня на Ветошную, и брал книгу, и не сжёг её: ради вот этой секунды, когда можно наконец поверить, что все эти годы были не напрасны.

Он погасил лампу и лёг, не раздеваясь, поверх одеяла, и долго лежал в темноте с открытыми глазами. Ничего не изменилось. Комната была та же, холод обычный, октябрьский. За стеной капала вода, во дворе проехала машина, протаскивая по потолку полосу света. Мир стоял на месте, будничным и равнодушным, и это было почти обидно: он ждал — стыдно признаться, но ждал, что после такого что-нибудь громыхнёт, переменится, отзовется. Не отозвалось ничто.

Он лежал и слушал дом. Где-то капало, где-то за стеной бормотал телевизор, проезжали редкие машины. Всё было как всегда — и всё было не как всегда, потому что теперь в нижнем ящике стола лежало нечто, чего он не мог объяснить и не хотел проверять. Он ловил себя на том, что прислушивается к ящику, будто оттуда может донестись звук. Оттуда не доносилось ничего.

Один раз, уже под утро, ему всё же сделалось по-настоящему страшно. Он вспомнил слова Северина, „закрой её и сожги“, и на мгновение эта мысль показалась единственно разумной: встать, отнести книгу на пустырь, чиркнуть спичкой и покончить с наваждением. Он даже приподнялся на локте. Но за окном хлестал дождь, идти было холодно и глупо, книга лежала в ящике, тихая и безобидная, а страх при свете рассудка казался ребяческим. Он снова лёг.

Под утро ему приснился короткий, ясный сон: будто стоит он в огромном, ярко освещённом зале, полном людей, и все они держат его книгу и читают, читают, не поднимая глаз, и лица у них счастливые. Он хочет подойти, сказать: это я, это я написал, но, сколько ни идёт, не может приблизиться ни на шаг. А когда наконец кто-то поднимает голову, Матвей видит, что у человека нет лица — только гладкое место, где ему быть. Он проснулся с колотящимся сердцем и не сразу понял, отчего сон, в котором его наконец читают, оказался так похож на кошмар.

Утро выдалось серое и обыкновенное, и обыкновенность эта была спасительна. При свете дня комната снова стала просто комнатой, книга в ящике — просто старой книгой, а ночные страхи оказались тем, чем и должны быть страхи при свете: смешными. Матвей умылся ледяной водой, поставил чайник, снял с полки первый попавшийся том и заставил себя прочесть страницу, потом другую — чтобы доказать себе, что мир на месте и слова в нём означают ровно то, что означали вчера. Мир был на месте. Слова означали то же. Он почти успокоился.

К утру он почти убедил себя, что вся эта история — усталость, дурная ночь да разыгравшееся воображение измученного отказами человека. Он даже не заглянул в книгу, нарочно не заглянул, сунул её в нижний ящик стола и пошёл ставить чайник, насвистывая, злясь на себя за вчерашнюю слабость.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.